

логию «массового человека», пришедшего в мир в качестве основного деятеля, Добычин открыл себе и нам малоприятные для человеческого рода истины. Например, ту, что сознание «массового человека» организуется как бы извне. Чем больше разумных предметов (следов цивилизации) в поле зрения такого человека, тем он определеннее, тем больше у него шансов включиться в какую-то разумную связь с остальным миром, то есть в культуру. В отсутствии же цивилизации (или в условиях ее фрагментарного, бессвязного и бессмысленного присутствия, как в рассказах Добычина) «стихия» не способна ничего создать, и «новый человек» обречен на одиночество среди подобных себе таких же одиночек.

Добычин мучительно ищет в аморфной душе своих героев точку опоры, то зерно, из которого способна при каком-то ином устройстве мира произрасти культура. Единственное, что он находит, — тяга одного человека к другому. Его герои упорно и почти бессознательно стремятся реали-

зовать ее в формах, заданных книгой, кинематографом, случайной картинкой. В пределах изображенного мира эта энергия тратится вхолостую, она уходит в пустоту, и в этом смысле Добычин, конечно, пессимист. Но в каждом очередном рассказе он упрямо воспроизводит все тот же конфликт, еще и еще раз заводит свой сюжетный «двигатель» в какой-то детской надежде на то, что он все-таки куда-то что-то сдвинет...

Все это опыт, чрезвычайно важный для современной нашей литературы, совсем недавно вдруг обнаружившей у нас «массового человека» и весь сонм сопутствующих ему проблем. Уже есть писатели, которые задумались над этими проблемами всерьез, и они, конечно, не должны пройти мимо прозы Леонида Добычина. А она равно предостерегает и от романтического оптимизма, и от искушения окончательно отказаться этому миру в осмысленности. Скепсис и надежда — вот два полюса исканий Добычина.

Александр АГЕЕВ.

\*

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ

Лидия Гинзбург. Литература в поисках реальности. Л. «Советский писатель». 1987. 397 стр.

Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом. Л. «Советский писатель». 1989. 607 стр.

Продуктивно искусство, которое стремится показать этическую возможность жизни, хотя бы и в обстановке катастроф XX века.

Л. Гинзбург.

**М**ладшая современница и ученица таких классиков российской филологии новейшего времени, как Эйхенбаум, Тынянов, Шкловский, Лидия Яковлевна Гинзбург благодаря значительным цензурным послаблениям последних лет смогла опубликовать свои воспоминания и дневниковые записи 1920—1980 годов, ценное свидетельство о возможности мужественной, добросовестной и высокоинтеллектуальной деятельности в эпоху, казалось бы, не оставляющую человеку лазеек.

Вот как виделась реальность 20-х годов из эмиграции Бунину:

«У новых людей — повадки, манеры резки, грубы, особенно неприятна молодежь. Неравенство растет. Школы в неопишемом состоянии, университеты мертвы. Время хищничества, зависти, бессердечия к чужим страданиям. По всей России великое обнищание, острый недостаток обуви, одежды, медицинской помощи. Все развращены платой за шпионство — у одной московской чрезвычайки на службе 30 000 филеров». Бу-

нин прав в целом: происходила генетическая мутация, — но приближителен в мелочах культурная, филологическая, научная работа в университетских кругах и культурных центрах в эти годы кипела и не уступала уровню мировому. «Нам казалось, — вспоминает Гинзбург 20-е годы в 80-е, — что мы начинающие деятели начинающегося отрезка культуры».

Чем же объясняется морально полноценная жизнь интеллигенции в 20-е годы — время симбиоза напманской пошлости и чекистских застенков — на фоне только что случившейся глобальной исторической катастрофы? Л. Я. Гинзбург указывает, что «культурная революция» начала XX века, дав новую эстетику и свежий взгляд на природу культуры, мало изменила, собственно, идеологию интеллигенции («Вехи» в этом смысле остались периферийным явлением). «Сочетание народнических, даже народовольческих традиций с авангардизмом, модернизмом» приводило к тому, что «весь русский авангард заглядывал в революцию».

«Когда мы, поколение начала века, стояли еще на пороге событий, в наших умах царилла гигантская путаница. Была она следствием скрещения двух эпохальных веяний — веяния революции, не затухавшего в России от Радищева до 17-го года, и веяния русского модернизма». (Эту психологическую модель превосходно иллюстрирует «Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лифшица.) «Несогласие с существующим, — замечает Гинзбург, — было опытом всей русской культуры. Все мыслящие были против, так или иначе, — и славянофилы, и Достоевский, и Владимир Соловьев. Один Леонтьев был за. Поэтому он — со своим эстетизмом — в сущности очень нерусский».

Но есть против — и против. Есть против ради приведения реальности в соответствие со здравым смыслом и государственным принципом. И есть против разрушительное, террористическое, принципиально идеологическое... В силу последнего у воспитанной в Одессе в гимназической освободительной идеологии Гинзбург «в месяцы Февральской революции детский максимализм сработал естественно. Мимо презираемых кадетов, мимо Керенского... относилось все дальше влево».

Очевидно, это «влево» и позволило молодой энтузиастке, наращивавшей все 20-е годы свой культурный и научный потенциал с упорством, какое и мужчине не снилось, сделать-таки в 1930 году дневниковую запись, свидетельствующую о мировоззренческой сметке: «Время сообщило поколению уважение к душевному и физическому здоровью, к действию, приносящему результаты; интерес к общему; восприятие жизни в ее социальных разрезах... Предпринятая сейчас идеологизация труда содержит первостепенной важности условия для человеческого счастья». Рецидивы этого «влево» сказываются и в таких устойчивых словосочетаниях, как «самодержавно-полицейский режим», «свинцовые тучи реакции», «российские условия насилия и рабства» и другие клише, от которых не сумели избавиться ни Л. Я. Гинзбург, ни Ю. М. Лотман, ни многие другие выдающиеся филологические умы традиционной закалки.

И все-таки, несмотря на вышеупомянутые мировоззренческие издержки, добросовестность и здравомыслие уже в 20-е годы позволяли Гинзбург иначе, чем это предписывалось вульгарной социологией и таким мясником нашей истории, как М. Покровский, смотреть на освободительные процессы прошлого века:

«Даже в тех случаях, когда русским политическим деятелям и мыслителям бывала

свойственна умеренность требований и целей, — они не знали умеренности средств и тона. Многие из декабристов желали не очень крутых политических изменений, но «умысел царубийства» их не ужасал (даже Артамон Муравьев вызывался совершить этот акт). То же и Герцен. Герцен в 50-х годах ожидал добра от правительства, готов был жить в худом мире и твердил в «Колоколе» о том, что царь одною мыслью об освобождении крестьян с землей поставил себя в ряду величайших деятелей человечества. Но каким тоном все это говорилось; как Герцен стоит лицом к лицу с Александром II: поощряет его, понукает, одобряет или страшит неудовольствием «образованного меньшинства».

Между прочим, Покровский утверждает, что народовольцы были довольно умеренны в своих политических вождениях; «они считали нужным ориентироваться на поддержку передовой буржуазии и не хотели отпугивать ее внесением откровенно социалистических требований в свою программу. Очевидно, они считали, что видом взлетающих на воздух сановников русскую буржуазию не отпугнешь».

Лидия Гинзбург так определяет три «социально-психологических механизма», помогавших интеллектуалам адаптироваться к 20-м годам.

Во-первых, «прирожденная традиция русской революции, та первичная ценностная ориентация, на которую насланивалось все последующее». Уж на что «Ахматова, казалось бы, от этого в стороне, — замечает Гинзбург, — но Ахматова с оттенком удовольствия рассказывала мне о том, что ее мать в молодости была знакома с народовольцами... «Мама очень гордилась тем, что как-то дала Вере Фигнер какую-то свою кофточку — это нужно было для конспирации». <...> От самых неподходящих как будто людей протягивались связующие нити, и не к каким-нибудь там реформаторам, а прямо к бомбометателям».

Во-вторых, «желание жить и действовать со всеми его сознательными и бессознательными уловками. Тогда было много талантности и силы, и сила хотела проявляться». Позднее к этому прибавилась «завороженность» атмосферой 30-х годов. Эта замороженность заставляла, например, такого выдающегося ученого, как Б. М. Энгельгардт, именовать Сталина «всемирно-историческим гением», она же обусловила мироощущение мутации позднего Мандельштама, искреннее, по мере сил примирение с действительностью Пастернака и проч.

И наконец, третий «социально-психологи-

ческий механизм совместимости» — «чувство конца старого мира... Новый, ни на что прежнее не похожий мир... есть единственная непрерываемая данность, реальность, в которой нужно жить иначе, чем жили, чем живут сейчас за ее пределами». То есть советская реальность — навсегда; уяснив себе это, надо было продолжать жить дальше со всеми вытекающими отсюда последствиями.

...Лидия Гинзбург — мастер формулировок, описаний, лаконичных и выразительных до предела. Ее ориентированная на фрагмент проза, вмещающая разом несколько жанров — от обрывка услышанного разговора до философских пролегоменов, — проза повышенной концентрации, большого давления и — порою — «неслыханной простоты». Кажется, трудно, например, лучше и проще сказать о Чехове, чем «обронила» Гинзбург: «Чехова можно читать потому, что печаль жизни он изобразил именно ту, которую мы в себе несем».

Картина похорон Кузмина навсегда останется в нашем сознании связанной с вечером того же дня, когда «у Пунина пили водку. Я припоминала, сбиваясь:

Как люблю я стены посыревшие  
Белого зрительного зала,  
Сукна на сцене серевшие,  
Ревности жало...

Анна Андреевна сказала: этой ночью не мы одни читаем его стихи...

Больная, она не пошла на похороны. Это ее расстроило, потому что она терпеть не могла покойника <...>, и ей приятно было показать свое беспристрастие.

Она сказала:

— Николаша вас почему-то не видел.

— Я не дошла до кладбища.

— Николаша последние дни все время рычал. А сегодня пришел с кладбища в таком чудном настроении. Говорит, что чудные похороны: так, под дождем, хоронили французских импрессионистов.

— Да, да, — сказал оживленный Николай Николаевич, — почему вы не пошли на кладбище? Жаль. Все там подходили ко мне, спрашивали об Анне Андреевне. У меня все время было такое чувство, что они еще что-то хотят мне сказать.

— Вероятно, — сказала Ахматова, — они хотели вам сказать: передайте А. А., что когда умрет — мы тоже придем на кладбище».

Вот так умеет организовать Гинзбург имевший место быть в реальности диалог — в прозу. Эта дневниковая запись сработана на века. Даже если Гинзбург записала

тот разговор по памяти сразу по возвращении домой, то есть с максимальной «синхронностью», элемент художественной обработки тут налицо, и обработка эта, выявляющая интонационные переливы, превосходна.

Проза Л. Я. Гинзбург живет именно в тесном слиянии с прямою документальностью. Когда Гинзбург пытается «абстрагироваться», писать о неких Эн, Игрек, заведомо безымянном в качестве персонажа старике и т. д., тогда страницы ее повествования начинают с трудом читаться: слишком оно сконструировано, неорганично и неспонтанно. Зато щемяще точны ее наблюдения: «Белыми ночами прохожие выглядят неестественно. Днем у идущего по улице человека есть назначение; настоящей ночью у человека на улице есть особая свобода, облегченность движений, которая дается сознанием собственной невидимости, отдыхом от чужого взгляда. Белой ночью люди нецелесообразны и в то же время несвободны».

Гинзбург часто возвращается к своему атеизму, чувствуется, что это для нее достаточно драматично: «Мы — атеисты, — конечно, всю жизнь говорим о бессмыслице. Но это мы говорим, чувствуем же ее только припадками. А теперь (в старости.— Ю. К.) бессмыслица стала незатухающим переживанием, свинцовым психологическим фоном. <...> Моя тема: как человек определенного исторического склада подсчитывает свое достоинство перед лицом небытия».

В сущности, «новые люди» 20-х годов (интеллектуалы, опоязовцы, технократы и другие) были в своем мироощущении рудиментарны по сравнению, скажем, с высланными из России в 1922-м. Веяния религиозного ренессанса их не коснулись, церковь была вне их сознания (молящийся опоязовец, как и... «плачущий большевик», непредставим). Это были позитивисты, рабочим энтузиазмом, пафосом науки заменявшие духовную онтологию, подходившие к культуре технично (Л. Гинзбург без тени юмора записывает за Н. Тихоновым в 1925 году: «Я на Пастернаке загубил около двенадцати стихотворений. Потом понял, как это делается, — бросил»).

Тип этот получил впоследствии большое распространение — вплоть до структуралистов и культурологов наших дней. Работоспособность, преданность делу (служение культуре), научная добросовестность — вот положительные черты его. Обратная сторона медали тут: безразличие к моральной сути изучаемого предмета, отношение к

культуре, к творческому продукту как к продукту игры, условности. Трагедия уступает иронии, идеологию заменяет релятивизм (тоже, кстати, своего рода идеология). Ноуменальное ежели и присутствует, то лишь в качестве пикантной приправы.

Конечно, Л. Я. Гинзбург слишком умна, глубока, талантлива, ее умение на протяжении лет поддерживать неослабную интеллектуальную форму слишком героично, чтобы она могла удовлетвориться этой дорогой. Ее слова об этической возможности жизни, вынесенные нами в эпиграф, свидетельствуют об этом. И все же...

С годами в своих вкусах Л. Я. Гинзбург все дальше уходит от футуристических пристрастий молодости. Впрочем, еще в 1929 году она записывает: «Я говорю сейчас... об... опасности для писателей, которые не умеют оставлять вещи в покое, которых вещь мучает до тех пор, пока они не загонят ее в метафору. Это — опасность безответственных сравнений, фальшивых масштабов, кунсткамерности и остроумия».

Завышенная метафоричность — род литературного инфантилизма, всегда на грани с безвкусным. «Вещь в метафору» тогда загонял Олеша. Еще опаснее загонять в метафору идею, выдавая результат этого за притчу («романтические» поделки Горького и т. п.). Такого рода метафоричность — вечный соблазн авангардизма (например, театра абсурда), и надо обладать гением Кафки, чтобы выстроить на этом полноценное творчество.

...Жизнь Л. Я. Гинзбург пришлось на, в общем, иррациональное время. Тем пронзительнее и трогательнее, скажем, такая запись: «Понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно принимаю случай-

ные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово».

«Мое поколение, — суммирует Гинзбург, — в молодости видело людей, служивших целям, которые были им дороже жизни, своей и чужой. Оно прошло потом через пустыню страха <...> и слепого желания выжить, которое обеспечивает спасительную непрерывность разрешаемых задач (какая глубокая, чисто гинзбургская мысль, как это нередко у нее бывает, вместившаяся в придаточный оборот! — Ю. К.). Потом мы посильно поучаствовали в ренессансе, а в 70-х годах дожили до общества потерянных целей».

...В 70-е годы члены «общества потерянных целей» собирались на московских и ленинградских кухнях и читали свое, обреченное лишь на «эзотерическое» звучание. И Л. Я. Гинзбург читала тогда в узком кругу свои записки и мемуары, конечно, не предполагая в достигаемом будущем увидеть их напечатанными.

Но вот проза ее обнародована благодаря тому, что вдруг исторический ход убыстрился — к неизвестной развязке. И если суждена будущему культура, то и наследию Л. Я. Гинзбург суждена долгая жизнь. О ее прозе можно сказать ее же словами, резюмирующими наследие Пруста: «Искусство — найденное время, борьба с небытием, с ужасом бесследности. Обретенная предметность, ибо всякий предмет — остановка во времени. Творческий дух одержал величайшую свою победу — остановил реку, в которую нельзя ступить дважды».

Ю. КУБЛАНОВСКИЙ.

Мюнхен.

\*

## «В РОССИИ НАДО ЖИТЬ ДОЛГО»

В. Каверин. Эпilog. Мемуары. М. «Московский рабочий». 1989. 543 стр.

Литературная судьба Вениамина Каверина внешне как будто сложилась удачно: десятки книг, три собрания сочинений (последнее в восьми томах), Сталинская премия, кино- и телеэкранизации, титул «одного из основоположников советской литературы».

На самом деле все было далеко не так благополучно. Почти каждое произведение Каверина вплоть до середины 50-х годов было встречаемо разносной, грубой критикой — теперь в этом может убедиться всякий читатель, поглядев в заботливо подобранные автором «Приложения». Для героев

«Скандалиста», писалось в одной из статей, характерны «мещанский индивидуализм, идеология саботажа»; в повести «Художник неизвестен», утверждала другая, «Каверин выступает глашатаем этой буржуазной непримиримой, враждебной пролетариату идеологии». Отрицательные отзывы сопровождали даже «Двух капитанов»; шестнадцать ругательных рецензий собрала первая часть «Открытой книги».

Он предпринял большие усилия, чтобы не стать трагической фигурой, к чему имелись все основания, если принять во внимание его литературные взгляды и вкусы, те-